

P. WATSON

ЭТНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ И ЧТЕНИЯ

Татуировки, автографы, сообщения в мобильных телефонах, автобусные билеты, расчетные листки, уличные знаки, индикаторы времени на циферблатах часов, надписи мелом на досках, информация на дисплеях компьютеров, приборные щитки автомобилей, логотипы компаний, договоры, расписания движения поездов, титры в телепередачах, телетекст, изречения на майках, «вкл»/«выкл» на выключателях, десятифунтовые и другие банкноты, паспорта и удостоверения личности, чеки, Библия, квитанции, газеты и журналы, дорожная разметка, штрафные талоны, клавиатуры компьютеров, медицинские рецепты, поздравительные открытки, наружная реклама, карты, отчеты о заседаниях парламента, граффити на стенах, партитуры, церковные литургии, водительские права, свидетельства о рождении, браке и смерти, бюллетени для голосования, дипломы об образовании, бухгалтерские отчеты, инвентарные списки, крикетные доски для счета, кредитные карточки — эти и многие другие вещи, в основе которых лежит использование письменного языка и графических форм, показывают, насколько распространены, повсеместны и институционализированы тексты в нашем обществе.

Данный список указывает также на необычайное разнообразие видов работы, совершаемой при помощи текстов, — наложение контрактных обязательств, подтверждение, содействие, протоколирование, убеждение, идентификация личности и проч. Можно сказать, что практически любая известная в нашем обществе деятельность имеет текстуальные аспекты, предполагающие и включающие восприятие людьми письменных или текстуальных «знаков» — текстов, которые самыми разными способами помогают нам ориентироваться в этой деятельности, обстоятельствах или ситуациях и придавать им смысл.

В качестве аналитиков языка мы можем видеть в тексте просто значки, напечатанные на бумаге, либо рассматривать эти значки с

Уотсон Род (Watson, Rod) — лектор факультета социологии Манчестерского университета. **Адрес:** School of Social Sciences, Roscoe Building University of Manchester Manchester UK M13 9PL. **Телефон:** 0161-275-2513 **Факс:** 0161-275-2462 **Электронная почта:** Rod.Watson@manchester.ac.uk

Данный текст — это перевод главы из неопубликованной книги «Naturalistic approach to text», которая выйдет в свет в 2006 году (издательство: E. Meller Press).

Перевод с английского А.М. Корбуа.

точки зрения алфавита или, скажем, порядка расположения букв или слогов, но ни один из этих подходов не поможет нам понять, что текст *делает*, — особенно, если нас интересует, что именно делает данный текст здесь и сейчас. В этом смысле для нас тексты выступают осуществляющимися социальными действиями, носящими локальный, ситуативный характер.

Около ста лет назад Макс Вебер — работы которого оказали заметное, хотя и непрямое влияние на этнометодологию — отмечал, что наглядным свидетельством экспансии легально-рациональной бюрократии было значительное увеличение количества текстов. Среди них были канцелярские документы, ведомости и, не в последнюю очередь, числовые расчеты, например, бухгалтерские книги. Усиливающаяся бюрократизация также привела к возникновению или распространению новых текстуальных практик, таких как техники ведения отчетности. Однако почти все социологи проигнорировали это важное наблюдение Вебера, не только в связи с бюрократией, но и шире, в связи с нашей повседневной жизнью. Лишь очень немногие из огромного числа профессиональных социологов обратились к исследованию способов функционирования текстов как совершенно обыденной, рутинной составляющей современной повседневной жизни либо сделали предметом своего изучения то, каким образом текстовая работа встраивается в «другие» обыденные виды деятельности, например, каким образом наблюдение за спидометром, чтение дорожных знаков, проверка одометра, быстрые взгляды на дисплей радиоприемника включаются в процесс ведения автомобиля. Этнометодология помещает эти элементы повседневной жизни, как их понимают и опознают сами члены общества, в фокус своего внимания.

Практически неисчерпаемое многообразие текстов и совершенно обыденная, обиходная, практическая природа значительной части из них сравнительно мало изучались социологами. В большинстве случаев анализ текстов фокусировался на текстуальных феноменах «высокой культуры» — романах, академических трудах, толкованиях библейских или талмудических текстов либо текстов классической античности. Эти по большей части экзегетические штудии воплощались в виде самых разных академических форм или перспектив — дешифровка текстов, этимологические изыскания и проч. Такому анализу, самому по себе не лишенному ценности, подвергались тексты, имевшие, в лучшем случае, крайне ограниченное значение для повседневной, обыденной жизни, в отличие от *габитуса* литературной или интеллектуальной элиты. При этом исследователи не учитывали множество рядовых текстуальных феноменов нашего общества и фокусировались на экзотическом, а не обиходном, эзотерическом, а не общепринятом, далеком, а не близком.

Но даже эта текстуальная экзегеза порой была шагом вперед по сравнению с господствовавшим в гуманитарных и социальных науках подходом к письменному или печатному слову, при котором язык рассматривается как прозрачное «окно в мир», проводник (*conduit*), предоставляющий прямой доступ к «реальным вещам» в обществе. Так, историк и антрополог Алан Макфарлейн [14] использовал дневник преподобного Ральфа Джосселина в качестве «окна», позволяющего увидеть семейные отношения и индивидуализм в Англии шестнадцатого века¹. Антропологи полагают, что их полевые записи обеспечивают надежный доступ к (скажем) структуре родства племенного общества. Социальные ученые, анализирующие результаты опросов, считают, что их статистические таблицы и графики говорят (скажем) о распределении доходов в обществе, и т. п. Часто в тексте видят непроблематичное отражение некоего объекта(ов) в реальном мире, текст кажется просто «сцепленным» с этими объектами-в-мире, по сути, неотделимым от них. То, каким образом используемые письменные записи сами предопределяют наш «доступ» к историческим феноменам и их понимание, мало когда (если вообще когда-нибудь) становится предметом серьезного или устойчивого интереса. Тексты — в том числе в аспекте их «сцепленности» — сравнительно редко считаются достойными объектами внимания.

Таким образом, язык, ряды чисел, графики и другие элементы текстов в целом принимаются данными аналитиками как нечто непроблематичное; для них это всего лишь проводники к объектам их анализа, будь это семья, доходы, индивидуализм или что-нибудь еще. Для этих ученых текст представляет собой более-менее незамечаемое и неинтересное средство достижения цели. Тексты служат исследованию «других», отдельно полагаемых феноменов. С этой точки зрения в тексте предположительно содержится *ресурс* доступа к данным феноменам — которые существуют как бы «за» текстом, функционирующим по преимуществу в виде необсуждаемого (*unexamined*) проводника, своего рода нейтрального «окна» или «канала» к ним. Считается, что тексты «переправляют» нас к этим феноменам.

Такой подход во многих отношениях отличается от подхода некоторых других ученых, например, Эдварда Роуза [19]. В своей этапной работе Роуз не рассматривает «слова» и «(вещный) мир» как два

¹ Макфарлейн, разумеется, использует и множество других текстуальных источников. Он изучает метрические книги и другие записи, книги учета арендуемых земель и продаж и т. д. Однако в отношении этих текстов он продолжает занимать ту же позицию: он рассматривает их лишь в качестве проводников к тем феноменам, о которых они «сообщают». Аналитическое обсуждение этого подхода можно найти у Клиффорда и Маркуса [29].

отдельных феномена. Напротив, мир видится «ословесненным», а повседневные слова — неотъемлемыми элементами определяемых ими феноменов мира. С этой точки зрения вещь нельзя отделить от идентифицирующего ее слова. В повседневной жизни мы переживаем вещи посредством обозначающих их слов, устных или письменных. Задумайтесь о том, каким образом знак (то есть текст) с надписью «стоянка» используется компетентными членами общества для определения того, чем «является» определенное пространство.

Данная проблема имеет принципиальное значение для социологии, в частности потому что у профессиональных социологов есть свой словарь для определения и идентификации (социального) мира, который обнаруживается в устной речи или текстах. Как показывает Роуз, в основе этих технических слов лежат главным образом обыденные понятия здравого смысла. Термины вроде «статуса», «роли» или «общества» сейчас могут восприниматься как элементы технического словаря социологии, но первоначально они были частью обыденного, повседневного способа употребления, который эволюционировал с течением времени, и принимавшиеся им формы оказали влияние на сегодняшние профессиональные/аналитические определения (*determinations*) этих терминов.

Роуз полагает, что запас обыденных слов составляет «естественную социологию», набор разделяемых повседневных концептуальных представлений об обществе. Отсюда следует, что применение профессиональными социологами таких терминов, как «роль» или «статус», определяется обыденными культурными значениями этих терминов — зачастую возникшими в XVII столетии или даже раньше. Практически все технические формы выражения, используемые профессиональными социологами, основываются на сложившемся повседневном способе их употребления, и этот фундамент задает границы конвенциональных значений, придаваемых профессиональными социологами данным выражениям. То, что профессиональные социологи редко (в лучшем случае) это осознают, не меняет того обстоятельства, что их наука, со всем ее техническим словарем, имеет своей предпосылкой естественный социологический словарь. Роуз полагает, что социология — это практика естественного языка и что социологический анализ конструируется лингвистически. Данный аргумент определяет нашу позицию в отношении социологических текстов, будь то исследовательские отчеты или вузовские учебники. Эти тексты показывают, что профессиональная социология — не только дисциплина, технологический словарь которой имеет обыденные или повседневные истоки, но *ipso facto* также и дисциплина, которая реализуется (устно или текстуально) посредством того или иного естественного языка — японского, английского, французского и т. д. — и целиком зависит от дескриптивных и других ресурсов этого

конкретного языка. Социологи могут создавать и создают аналитические описания социального порядка, но они способны делать это только потому, что их родной обыденный, естественный язык предоставляет им ресурсы для этого. Форма, характер и направление их академического анализа, следовательно, обуславливаются или определяются в равной степени как методологическими ограничениями их дисциплины, так и конвенциональными свойствами *неминуемо* применяемого ими естественного языка.

Социологи и другие ученые, очевидно, не способны исключить текстуальный анализ из своей практики. Например, было бы любопытно проанализировать, каким образом исторические суждения Алана Макфарлейна [14] определяются — в каждом конкретном случае — текстами, которые он использует в качестве источников данных, а также его собственными текстуальными практиками придания этим текстам смысла и включения их в конечный отчет. Образцом этнометодологического исследования влияния текстуальных ресурсов на академические дисциплины — вплоть до помощи в осуществлении сегментации этих дисциплин — является статья Г. Уотсона [27], посвященная текстуальному конструированию границ между социальной и культурной антропологией. Еще один схожий пример — работа Э. П. Карлина [4], в которой показывается, каким образом текстуальные практики составления библиографии по социологии — или по какому-либо ее разделу — служат социальному установлению дисциплинарных границ. Кроме того, данные практики также способствуют — рефлексивно — утверждению легитимного места книг или статей как «принадлежащих» к данной дисциплине или «представляющих» ее, имеющих внутри нее «статус корпуса». В отношении социологических текстов мы могли бы отметить, что они не только неизбежно перенимают общие свойства используемого естественного языка, но и обязательно строятся в соответствии с повседневными текстуальными конвенциями, предполагаемыми этим языком. Разумеется, текстуальные конвенции бывают разными; не во всех культурах читают слева направо и сверху вниз.

В качестве иллюстрации подобного рода текстуального структурирования при анализе можно привести процедуры расшифровки, применяемые в социологии некоторыми аналитиками разговора (*conversation analysts*). Аналитики разговора разработали крайне изощренную техническую систему «текстуализации», то есть перевода реального устного дискурса в письменный формат. Она заключается в фиксации множества мелких социально-интеракционных деталей слуховых и звуковых взаимодействий. Значительная часть этих процедур заимствуется из обыденной, повседневной текстуальной практики — они предполагают не только чтение «слева направо» сверху вниз, но и идентификационную привязку отдельных высказываний и

их последовательностей. Другими словами, вербальные и невербальные действия характеризуются посредством «специфической» (либо общей) категории или какого-нибудь другого указания на личность говорящего. В этом смысле формат расшифровки, применяемый аналитиком разговора, извлекается из более широких источников — источников, которые распространены в нашей культуре и предшествующими которыми являются, например, формы драматургической сценографии, судебные протоколы, газетные сводки и проч. Аналитики разговора действительно использовали судебные или арбитражные отчеты в качестве «сырых данных» о речевых взаимодействиях между «юрисконсульт» и «свидетелем». Заметим, что «юрисконсульт» и «свидетель» — социальные категории идентификации людей, и эти категориальные идентификации заложены в подобные отчеты (см. [1, 6]). Многие аналитики разговора полагались на данную технику категоризации, используя ее как необсуждаемый, само собой разумеющийся ресурс для своего анализа. Например, они могли использовать ее, чтобы делать судебный дискурс в институтах вроде суда аналитически доступным в качестве «институциональной речи», в которой, например, вопросы систематически «пред-назначаются» (pre-allocated) человеку, категоризируемому в соответствии с его местом в институте суда, например, «юрисконсульту», а ответы — человеку, институционально категоризируемому как «свидетель».

Мы можем привести пример подобной работы, хотя он взят из иного контекста. Это языковой взаимообмен двух людей. В оригинальной стенограмме собеседники идентифицировались в левом столбце не по их социальной категории, а по именам, в данном случае псевдонимам «Райли» и «Коркоран». Я несколько упростил исходную стенограмму для облегчения чтения.

Riley: See... I stole it from the house. Cause I, my mother she's kinda off, too, y'know. She used to tell me how she's gonna get rid of me, y'know.

Corcoran: Mm hm.

Riley: She used to threaten me too, yihknow, I ain't threatened her, she used tuh threaten me all the time.

Corcoran: What d'you mean, she wuz gonna off you?

Riley: Yeah, she always usetuh threaten me. One time I almos' hurt her before, like, when she was, in the bathroom: she kept on about how she gonna kill me, I told her to quit saying that stuff y'know, cause I say I might hurt 'her.

Райли: Понимаешь... Я стащил это дома. Потому что я, моя мать, она, того, вот. Она говорила мне, что собирается избавиться от меня, да.

Коркоран: Мм... хм.

Райли: Она еще и угрожала мне, да, я не угрожал ей, она постоянно угрожала мне.

Коркоран: Что ты имеешь в виду, она хотела прикончить тебя?

Райли: Да, она всегда угрожала мне. Как-то я чуть не прибил ее, раньше, значит, когда она была в ванной: она продолжала вопить, что она убьет меня, я сказал, чтобы она заткнулась и не несла эту чушь, да, потому что, говорю, я мог бы прибить ее.

С точки зрения здравого смысла данный отрывок стенограммы может быть определен самыми разными способами. Например, к нему можно было бы отнести как к фрагменту обыкновенного, неформального, просторечного разговора между (скажем) двумя друзьями, хорошими знакомыми или, например, родственниками. Либо его можно было бы рассмотреть в качестве происходящей в институциональных условиях беседы между, скажем, социальным работником либо инспектором, наблюдающим за условно осужденными, и недавно вышедшим на свободу. С другой стороны, хотя данный отрывок содержит элементы обыденного словаря, он может рассматриваться как взаимодействие в иной институциональной ситуации: между полицейским и подозреваемым (или свидетелем) на допросе. Либо в нем можно увидеть «институциональное» взаимодействие врача, например, наблюдающего психиатра или консультанта, и клиента. (Обратите внимание на использование нами социальных категорий для идентификации ряда возможных дискурсивных типов: «друзья», «хорошие знакомые», «родственники», «социальный работник», «полицейский», «врач», «клиент» и т. д.) Или, что было бы достаточно разумно, мы могли бы посчитать имеющуюся последовательность высказываний неоднозначной. Конечно, мы могли бы, что было бы не менее разумно, прибегнуть к дополнительным техникам придания стенограмме смысла, например, прочесть еще какой-либо отрывок из нее, чтобы узнать, что говорилось еще (в частности, например, Коркораном), прежде чем выбрать и применить эти категории. Во всех этих случаях мы *категоризируем* данных людей, а не просто относимся к ним как к людям, имеющим определенные имена.

Если мы решаем применить категории «врач» и «пациент», а не, скажем, «хорошие знакомые», то помещаем дискурс в категорию «институциональной речи», а не обычного, неформального разговора в неинституциональных условиях. Это ведет к далеко идущим последствиям в отношении нашего способа анализа данных высказываний, например, слова Коркорана: «Что ты имеешь в виду, она хотела прикончить тебя?» теперь могут анализироваться как высказывание врача или как такое высказывание, произнесение которого является «пред-назначенным» для врача действием. Если мы, напротив, предпочитаем видеть в данной последовательности фраз институциональный дискурс иного *типа* или *класса*, например, допрос полицейским подозреваемого или свидетеля, тогда высказывание Коркорана может анализироваться как действие в ситуации допроса, как утверждение,

закрепленное за институциональной категорией «полицейский» или пред-назначенное для нее.

Таким образом, категория, помещаемая нами в левый столбец стенограммы, сначала «учит» нас тому, каким образом читать соотносимое с ней высказывание:

Полицейский: Что ты имеешь в виду, она хотела прикончить тебя?

Подозреваемый: Да, она всегда угрожала мне. Как-то я чуть не прибил ее, раньше, значит, когда она была в ванной: она продолжала вопить что она убьет меня, я сказал, чтобы она заткнулась и не несла эту чушь, да, потому что, говорю, я мог бы прибить ее.

После этого высказывание может «отражаться обратно» на категоризацию и становится «высказыванием полицейского».

Категории «полицейский» и «подозреваемый» приобретают особое значение еще и потому, что они располагаются в левом столбце, а мы читаем слева направо, то есть прочитываем категорию до высказывания. Конечно, чтение последующего высказывания в качестве, например, высказывания полицейского может затем «отразиться обратно» на приписываемую категорию, «подтвердить» ее или даже помочь нам приписать эту категорию. Таким образом, между категорией и высказыванием существует «рефлексивная», возвратно-поступательная связь.

На самом деле это был полицейский допрос подозреваемого в убийстве: именно таковы были подразумеваемые (*salient*) категории идентификации или «членства». Но даже в этом случае помещение указанных категорий в левый столбец может быть чересчур поспешным, поскольку, как верно замечает Щеглофф [23], при (скажем) телефонных звонках рядовых членов общества в полицию нет гарантии, что в данном высказывании или последовательности высказываний либо во всем разговоре категория членства/идентификации «полицейский» или «рядовой член общества» является для собеседников явно обозначенной. Напротив, для *этого конкретного* высказывания, последовательности фраз или разговора может быть релевантной категория «друг». Теперь мы видим, что внешне простая и безобидная *текстуальная практика* помещения идентификационной категории в левый столбец стенограммы способна вызывать далеко идущие (иногда слишком) последствия в отношении того, как мы *осмысляем* и анализируем фрагмент дискурса².

² Следует добавить, что представленные выше комментарии по поводу используемых в анализе разговора и этнографии коммуникации процедур расшифровки не носят (полностью) критический характер. Моя основная цель — сделать работу расшифровки самостоятельной областью данных, которую следует подвергнуть анализу, чтобы показать обусловленность профессиональной социологии обыденными культурными

Впрочем, аналитики разговора подходят к приписыванию дискурсу идентификационных категорий и к обоснованию таких приписываний с гораздо большей тщательностью и более продуманно, нежели остальные социологи³. Многие этнографы, например, довольно самоуверенны и порой даже бесцеремонны в своих суждениях о том, какая именно категория релевантна для конкретной фразы респондента (см., например, [2]). Мы могли бы сказать, что процедуры расшифровки или текстуализации сами по себе побуждают нас, как исследователей, использовать ту или иную категорию и, тем самым, склоняют к определенному рода анализу. В строгом смысле слова, наша этнография (например) заканчивается еще до анализа расшифрованных данных: когда категории выработаны, происходит активация направляющей интерпретации и «всё, бар закрывается». Это напоминает нам о том, что любого рода письмо, в том числе указанная текстуализация, представляет собой *практику и деятельность, влекущую за собой определенные последствия*.

Столь подробное обсуждение приведенной иллюстрации было предпринято лишь для того чтобы показать, насколько текстуальные практики профессиональных социологов включены в производство социологических данных и социологического анализа, а также насколько многие практики социологов укоренены в повседневных представлениях о тексте. Не удивительно, что профессиональные социологи обязательно опираются на эти обыденные «здоровосмысленные» (commonsensical) культурные процедуры чтения и придания повседневного «текстуального смысла» тому, что мы читаем. Мы уже останавливались на одной такой процедуре — чтении «слева направо» — и указывали, как она может использоваться в качестве ресурса. Очевидно, обнаружение подобных ресурсов имеет большое значение, в частности потому, что многие даже не догадываются о них (вследствие чего мы не до конца знаем, как эти процедуры определяют научную социологию). Даже те процедуры, которые *известны*, ускользают от внимания социологов, в результате чего наша социология

(в данном случае текстуальными) способами рассуждения и смыслополагания. Сложно понять, каким образом практики расшифровки могут постоянно ускользать от внимания в такого рода анализе.

³ Те единичные социологические исследования, в которых разговорное взаимодействие анализируется (*inter alia*) без указания идентичностей в левой колонке, по своему характеру крайне формальны и бихевиористичны. Примером изобретательного, подробного и любопытного исследования, не основывающегося на приписывании категориальных или каких-либо других идентичностей участникам взаимодействия, является исследование Коллинзов [5]. См., например, их анализ последовательности разговоров в Примере 9 (р. 124-126) и Примере 10 (р. 127-131).

обуславливается по преимуществу неустановленными и неопознанными способами — обыденными лингвистическими (в том числе текстуальными) ресурсами и процедурами, о которых как таковых практикующие ученые имеют, в лучшем случае, очень смутные представления. Таким образом, *социологические* текстуальные практики в значительной степени неявно основываются на обыденных, «здорово-мысленных» текстуальных практиках. Теперь мы можем перейти к изучению места текстов в обыденных, повседневных культурных способах рассуждения и поведения

Тексты как активные социальные феномены

Выше я отметил, что традиционные социологи обычно использовали тексты в качестве «источника информации о чем-то еще», как говорит Дороти Э. Смит [24, 25] в ряде своих известных работ. То есть при помощи текстов читателю «сообщалось» об «ином» феномене, например, о семейной жизни четыреста лет назад, о железнодорожной катастрофе или о чем-либо еще, существующем «по ту сторону» текста. По мнению Смита, мы стремимся лишь установить, что говорят тексты, о чем они как ресурсы сообщают нам. Социологи часто видели в текстах нечто прозрачное — «окна», открытые навстречу тому или иному «феномену». В этом смысле большинство социологов занимало в отношении текстов ту же позицию, что и обычные члены общества: они рассматривали их в качестве «проводников» к располагающейся за текстом реальности. Тексты редко считались аналитически значимыми феноменами, самостоятельной областью данных, объектами, заслуживающими внимания.

С этой склонностью социологов видеть в текстах простые проводники к отдельно полагаемой реальности тесно связано то, что Дороти Э. Смит называет «инерцией текста». Текст очень часто воспринимается в виде простых значков на бумаге — покорных, бездеятельных, неподвижных и инертных. Однако Смит пытается заменить это представление о тексте как пассивно-прозрачном «проводнике» концепцией *активного* текста, текста, который оказывает собственное структурирующее влияние и активно потенцирует смысл некоторого феномена. Например, одно газетное сообщение о железнодорожной аварии может возлагать вину на одну из сторон, а второе газетное сообщение — на другую⁴. Если использовать сравнение

⁴ Приписывание вины — один из множества *специфических* и *имеющих далеко идущие последствия* видов деятельности, который способен осуществлять текст, подобно тому, как «подписание договора» налагает обязательства, «подписание смертного приговора» приводит в исполнение наказание, «подписание брачного договора» ведет к смене статуса и т. д. В этом отношении тексты в значительной степени основываются на конвенциях естественного языка, в том числе в его устной форме: «го-

Смит (это не более чем сравнение, но даже в нем есть свои опасности), текст подобен «кристаллу, искривляющему проходящий через него свет».

Приведем пример. В статье, опубликованной в журнале «Международный форум женских исследований», Джон Ли [11] анализирует реальный газетный заголовок: ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА-СКАУТ ИЗНАСИЛОВАНА НА СХОДКЕ «АНГЕЛОВ АДА». Ли отмечает, что газетные заголовки активно а) привлекают внимание читателей к определенным историям, б) убеждают их прочитать эти истории и в) предрасполагают их к определенному способу чтения последующей истории, определенному способу осмысления и понимания содержания рассказа.

Таким образом, заголовок дает импульс читателям. Он не только активно завладевает их вниманием, но и обеспечивает им «инструктированное чтение» истории: можно сказать, что в газетные заголовки инкорпорируются, говоря словами Смита, «интерпретативные практики и схемы», которые, опять же, не лишены проблематичных элементов. Эти «практики и схемы» часто принимают форму инструкций по чтению последующего материала. Отчасти работа по «направлению внимания», совершаемая приведенным заголовком, принимает формат загадки: что делала носительница идентификационной категории «девочка-скаут» (не говоря уже о категории «четырнадцатилетняя») на сборище носителей категории «Ангелы ада»? Данные категории членства не являются в общепринятом понимании «естественно соположенными», в отличие, например, от категорий «Ангел ада» и «кореш» (sidekick). (Процедурные правила осмысленного со-выбора категорий членства обсуждаются в: [22]) Указанный заголовок побуждает нас прочитать историю с целью найти решение загадки: в итоге мы можем даже прийти к убеждению, что девочка-скаут была в определенной степени виновата сама, что она хотела «поразвлечься» и т. п. Однако последующий рассказ дает иной ключ к решению загадки, поставленной со-выбором этих категорий, а именно: «Ангелы ада» силой надругались над девочкой-скаутом, а ее предыдущие действия показывают, что она, на свою беду, случайно оказалась в том месте, куда съехались «Ангелы ада».

Формат загадка — отгадка часто встречается в заголовках газет. Упомянем еще один пример «загадки», анализируемый Джимом Шенкиным [26]. Это заголовок из «Гардиан»: ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ,

ворить» о чем-либо значит «делать» это, например, «обещать», «угрожать», «обвинять» и т. п. Эти и многие другие действия могут осуществляться текстуально и устно каждым, кто компетентно владеет устной и письменной формами естественного языка.

ПОЧЕМУ ОНИ УПУСТИЛИ РАДИОХУЛИГАНОВ (RADIO RAIDERS). Шенкин сообщает о первоначальном недоумении, в которое его привело чтение заголовка: к чему он отсылает? К кому он отсылает? По этой причине он называет данный заголовок *референциальной* загадкой (мы можем видеть, что заголовок Ли — загадка похожего типа). Испытанное недоумение побудило его прочитать историю, чтобы найти отгадку. Вероятно, загадка «зацепила» читателя статьи. Я не буду раскрывать здесь, в чем состояла отгадка (но скажу, что указанный номер «Гардиан» вышел осенью 1971 года). Статья Шенкина в определенном смысле подтверждает проведенное Смит сравнение текста с «кристаллом, искривляющим проходящий через него свет». Шенкин показывает, каким образом заголовок превращает «события в мире» в «истории из новостей»: здесь мы вновь сталкиваемся с идеей активного текста, текста, который воздействует, сообщает импульс. Мы также имеем здесь концепцию того, что можно было бы назвать «инсталляцией» события-в-мире в текст: в конечном итоге обсуждаемая «история из новостей» представляет собой текст — она текстуально доступна.

Одной из составляющих активного, деятельного, предопределяющего характера текста является так называемый «уклон» (slant), придаваемый истории. Ли сообщает, что ему однажды довелось наблюдать, как редактор отдела новостей на местном радио зачитывал сообщение о рекордном выигрыше в футбольный тотализатор в другом конце страны. История вышла под рубрикой: КТО-ТО ИЗ МЕСТНЫХ НЕ ПОЛУЧИТ КРУПНЕЙШИЙ ВЫИГРЫШ НА ТОТАЛИЗАТОРЕ. Воздействие заголовка и последующего текста состояло в том, что они представляли историю в соответствии с «уклоном», определяемым локальной системой отсылок. Текст активно влияет на специфическую трансформацию, специфическую *инсталляцию* истории. Таким образом, тексты являются *практическими* образованиями.

Рассмотрим анализ действия текстов на реальном (настоящие имена, как и выше, заменены псевдонимами) отчете американской полиции о предполагаемом убийце: он касается того же случая, что и представленная выше стенограмма допроса. Помимо прочего, данный отчет является текстуализацией значительного числа следственных действий полиции и их результатов. Текст активно производит самые разные эффекты, один из которых мы могли бы назвать «наводящим действием» (activity of implication). Под «наводящим действием» я имею в виду тот способ, которым подозреваемый Стюарт Райли благодаря данному тексту — представляющему собой стандартный, ничем не примечательный полицейский отчет — потенциально объявляется виновным в одном убийстве и невиновным (но только в рамках данного документа) в другом:

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ ФЭКТОРИ-СИТИ

ВНУТРЕННЯЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

КОМУ: Лейт. Дональду О. Коркорану
Начальнику отдела убийств

ОТ КОГО: Алана Дж. Римски, детектива,
Майкла Д. Хольта, детектива,
Лаборатория анализа улик
Отдел идентификации

ДАТА: 8.9.83

ТЕМА:

Отв.: Сличение непрявленного отпечатка
пальца с отпечатками пальцев Стюарта Райли

Сэр,

3 сентября 1983 г. по распоряжению лейт. Дональда О. Коркорана, начальника отдела убийств, нами были сличены все непрявленные отпечатки пальцев, полученные на следующих местах преступлений, и отпечатки пальцев Стюарта Райли (фотоснимок заводского отделения полиции, № 96713):

1. Эш-стрит, д. 431, убийство, жертва Херб Моррис, 23.8.83.
2. Сикамора-авеню, д. 826, вооруженное ограбление, пострадавший Хэнк Стеббинс, 31.8.83.

Среди непрявленных отпечатков, полученных по адресу: Эш-стрит, д. 431, установлена идентичность непрявленного отпечатка, снятого с крышки стереопроигрывателя, и отпечатка большого пальца левой руки Стюарта Райли с фотоснимка № 96713.

Среди непрявленных отпечатков, полученных по адресу: Сикамора-авеню, д. 826, идентичных не установлено.

Сличение проведено детективами лаборатории анализа улик Майклом Д. Хольтом и Аланом Дж. Римски.

Лейт. Коркоран
Дело об убийстве

С уважением
Алан Дж. Римски — детектив
Лаборатория анализа улик

Дела № 1216 и № 1217

(Печать)

9 сент. 1983 г., отдел убийств
Отделение полиции Фэктори-сити

(подписано) Дональд О. Коркоран

Обратите внимание: данный документ является мелкой, совершенно рутинной практической составляющей расследования, но тем не менее утверждение, касающееся улик, — то, что отпечатки Райли совпадают по одному пункту с отпечатками, найденными в доме жертвы убийства Морриса, и что подобного совпадения не обнаружено в доме пострадавшего Хэнка Стеббинса — делает возможным вывод о

предполагаемой виновности Райли в первом случае и невиновности во втором. Разумеется, с течением времени расследование может показать виновность Райли во втором случае и снять с него обвинения в первом, но здесь нас интересует то, что *данный* текст активно предлагает *здесь и сейчас*, насколько бы предварительным и предположительным это ни было.

Рассматривая, каким образом подобный намек активно педалируется отчетом и с помощью отчета как текста, в поле зрения можно (но не обязательно!) было бы удерживать следующие моменты: а) применение метода, систематической полицейской процедуры; б) многочисленные и разноплановые способы обозначения идентичности людей, в том числе следователей; в) формальный, «официальный» стиль текста и содержащиеся в нем печати, подписи и ратификации; г) точность формулировок утверждений в тексте (точный характер и вследствие этого границы проводимого сличения). Эти и другие текстуальные методы осуществляют активное «наводящее встраивание» Райли в первую сцену и исключение из второй, причем это «встраивание» текстуально авторизуется в качестве разъяснения (account). Отметим, что прямого утверждения о виновности не делается; вместо этого данное суждение активно потенцируется текстом. Именно посредством подобных недраматических, практических, внешне бесхитростных текстов «намек на виновность» (guilt-implicativeness) может активно подразумеваться или указываться: такого рода рутинные тексты активны.

Содержащий схожий намек на виновность текст — опять же, без явного обвинения или какого-либо иного способа приписывания ответственности — можно обнаружить в следующем газетном заголовке: ЖЕНА НАЙДЕНА УБИТОЙ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ. В данном случае читатели могут, учитывая конвенциональную категориальную пару «жена» — «муж» и обстановку («дом»), являющуюся общепринятым местом проживания такой пары, посчитать (верно или ошибочно) мужа наиболее вероятным кандидатом на дополнительную категорию «виновный». Снова *категориальная* организация текста влечет за собой далеко идущие последствия.

Анализируя ресурсы, определяющие «активную» и «практическую» природу текстов, мы должны помнить, что тексты часто являются согласованными достижениями, произведениями не отдельного автора, а нескольких людей, у которых могут быть разные релевантности. Например, Дэвид Омисси [17] написал книгу, в которой приводятся многочисленные письма солдат-индийцев, посланные из Франции во время Первой мировой войны. Большинство писем направлялись, разумеется, родным в Индию и были явно предназначены для чтения родственниками. Они писались на хинди, урду, гурмуки, пушту и т. д. Однако, как отмечает Омисси во «Введении» к этой

подборке, тексты писем не обязательно должны пониматься как продукт единичного или единого автора. Омисси не этнометодолог, но его наблюдения можно легко респецифицировать в соответствии с этнометодологическими принципами.

Письма иногда писали сами солдаты, но часто в их создании принимали участие писари (scribes), которые, например, могли посоветовать изменить фразу и проч. (нередко они также читали те письма, на которые солдаты должны были ответить). Таким образом, написание письма было, по словам Омисси, «полупубличным», а не целиком частным и личным делом. Затем письма проходили через армейскую цензуру, которая следила, чтобы в них, например, случайно не попали военные сведения или названия населенных пунктов. Существовало два уровня цензуры — полковые британские офицеры и Почтовая служба индийского дивизиона, работа которых заключалась в вымарывании «подрывного» материала из входящих и исходящих писем.

Однако ситуация была гораздо более сложной: некоторые солдаты писали письма самостоятельно; писарями могли быть и цензоры; временами цензура была менее строгой или тщательной, нежели в остальное время; британские цензоры часто полагались на индийских писарей, переводивших письма на английский язык, и т. д. Поэтому письма не были «стабилизированными», в том смысле, что они не были итогом прохождения через *поочередный* ряд «переделок» (laters) или, как их называет Омисси, «фильтров». Они были результатом неустойчивой «смеси» там-и-тогда локальных, ситуативных, эволюционирующих практик, то есть они были контингентными продуктами. Даже понятие «фильтра» является упрощением и редукцией, поскольку в некоторых случаях те, кто диктовал и/или писал письма, могли также предполагать, что содержание будет проверяться офицерами-цензорами и другими людьми, и учитывать это при составлении писем. В этом смысле письма могли заведомо подстраиваться под различных получателей: отдельных или всех возможных читателей. Таким образом, ресурсы или сведения, предоставляемые нам письмами скорее не постоянны, а изменчивы. Это может быть проблемой для традиционного социолога или историка, относящегося к письмам как к стабилизированному набору данных, но в этнометодологическом подходе феномены наподобие гибкого подстраивания писем под многочисленных реципиентов являются плодотворным предметом анализа. Данный подход отталкивается от текста письма, полученного (если оно дошло) семьей солдата в Индии, как сложно-составного и многогранного продукта, *несущего в себе* результат. Этнометодология сделала бы предметом внимания изменчивые ситуативные обстоятельства и релевантности темпорального хода производства письма той или иной когортой. Она бы

последовательно реконструировала наличие или отсутствие либо сочетание ресурсов или сведений в письме. Мы, очевидно, можем говорить о «производящей когорте», а не об отдельном авторе или единственном «реципиенте» каждого конкретного письма, представляющего собой ситуативное, локальное, диахроническое достижение. Безусловно, «производящая» и «принимающая» когорты могут смыкаться; в конце концов, чтение текста является частью хода его производства. Несомненно, создатели текста могут не быть его конечными или подразумеваемыми читателями. В таком случае это будет скорее всего использовано создателями текста в качестве его конструктивной или партикуляризационной черты. В этом смысле создатели текста могут встраивать в текст «независимость когорты», то есть то обстоятельство, что текст будет использоваться не (только) членами производящей когорты, и поэтому он не подчиняется интересам, способам употребления, релеванностям и т. п. только данной производящей когорты. Подобная независимость когорты является локальным достижением этой производящей когорты.

Интерес к производству текстов ведет к ряду вопросов, касающихся практики письма, на которых, в силу ограниченности места, мы не будем здесь останавливаться. Достаточно сказать, что этнометодологи понимают письмо не как обособленную, свободную психологическую деятельность индивида, а как деятельность, происходящую в очень специфической социальной обстановке и заключающуюся в ситуативной практике автора (или авторов), капитализирующей все «сценические» ресурсы этой обстановки — доступность определенных письменных принадлежностей, ориентацию на соавтора (который может быть соперником в споре) или других участников ситуации и т. д. [10]. В этом смысле письмо — действительно социальная, «ситуационно-проницаемая» (setting-permeable) деятельность. Еще одно локальное социальное измерение — специфическое «моделирование (design) реципиента», демонстрируемое практикой письма, то есть способ подстраивания письма под человека, получающего или читающего его именно в этих обстоятельствах.

Если вернуться к вопросу чтения, то в качестве одной из иллюстраций его важной роли можно привести классическую книгу об игре в карты, написанную профессиональным игроком Джоном Скарном [22]. По замыслу эта книга о том, как выигрывать в карты и выявлять шулеров. В главе, посвященной мошенничеству в покере (гл. 27), автор рассказывает о таких шулерских приемах, как подтасовка колоды, мечение, подмена, ложная сдача, вытягивание нижней карты, отвлечение внимания и сигнализация. Скарн пишет о сигнализировании сообщнику: «Если (первая) открытая карта почти целиком закрывает следующую, но оставляет свободной четверть дюйма, — это туз, и т. д.» [22, с. 289].

Первое наблюдение состоит в том, что фразеология данного высказывания основывается на концепции предполагаемого реципиента текста — игрока в карты, который уже обладает определенными техническими навыками. Во-вторых, данный текст может прочитываться, в особенности подобного рода читателями, двумя взаимосвязанными способами. Первое: его можно читать в качестве средства, помогающего читателю, как честному игроку в покер, выявлять шулеров, действующих в сговоре. Однако его также можно читать в качестве набора инструкций, показывающих читателю, как он (она) может мошенничать при игре в покер. Таким образом, в процессе чтения данного текста происходит нечто, что мы могли бы назвать «интерпретативным дрейфом»: то, *какую* интерпретацию читатель извлекает из текста, зависит от ее или его практических релевантностей, интересов и проч. — хотя это не значит, что подобный дрейф безграничен, напротив, в некоторых случаях он может быть тщательно задан, например, альтернативы могут в значительной мере перекрываться. Написанное может быть в большей или меньшей степени «разомкнутым» (open-textured) — в частности, с точки (точек) зрения специфических читателей: тексты не «стесняют» читателей, и, как мы можем видеть на примере книги Скарна, читатели способны «локализовать» или «партикуляризировать» тексты по крайней мере двумя способами. Несомненно, читатель текста играет при этом ведущую роль, он не просто пассивно воспринимает текст, а активно интерпретирует его (в том числе иногда вырабатывая отклоняющиеся или несовпадающие версии текстуальных разъяснений). К акту чтения мы сейчас и обратимся.

Исследования Омисси и Скарна — сами по себе, конечно, не этнометодологические — указывают на этнометоды, используемые при производстве текста. Эти этнометоды, будучи любительскими и непрофессиональными, позволяют существенно дополнить введенное Смит понятие «активного текста», так как помещают в фокус внимания *процедуры* текстуального *производства*. Как мы можем видеть, эти процессы очень сложны, высоко чувствительны по отношению к предполагаемым реципиентам и, возможно, изменяются в зависимости от различных стадий производства, которые мы могли бы назвать «производственной карьерой». Таким образом, активный текст — это локально эволюционирующий текст.

Чтение как деятельность

По мобилизуемым ресурсам и по своей структуре и формату тексты ни в коем случае не являются пассивными, это не инертные значки на странице или экране. Тексты оказывают активно-структурирующее воздействие. Однако данное воздействие должно быть *активировано* или *оживлено* (animated) читателем(ями): говоря об активном тексте, мы всегда говорим о тексте-как-он-читается (text-as-read).

В своей известной книге этнометодолог Эрик Ливингстон проанализировал неразрывную связь текста и его прочтения в конкретных ситуациях, используя термин «пара «текст—чтение»». Текст и его чтение могут пониматься как «две стороны одной медали». В данной паре сочетаются а) некоторый печатный текст и б) «живая работа», или воплощенные в опыте практики чтения *именно этого конкретного текста*, именно в данных обстоятельствах, здесь и сейчас. В этом отношении чтение — не просто некая обобщенная или расплывчатая деятельность: оно *специфически* обращено *именно к этому тексту, теперь, в этих конкретных обстоятельствах*. Поэтому текст-как-он-читается образует обособленную единицу, обособленный объект нашего аналитического внимания. Сфокусировать анализ на одной половине пары означало бы вырвать эту половину из того контекста, который придает ей специфический смысл «там и тогда». Любой данный текст неотделим от ситуативной, живой работы его чтения. Поэтому в настоящей статье под текстуальным анализом всегда понимается анализ текста-как-он-читается в данном специфическом случае. Характеристики текста являются, по сути, характеристиками текста-как-он-читается: эти характеристики рассматриваются изнутри и с учетом того, каким образом прочитывается текст в данном случае и для данного случая.

Как мы видели, это не означает, что читатели могут идиосинкразически или произвольно приписывать тексту любые характеристики: тексты сами предоставляют читателям ресурсы, однако читатели эти ресурсы активируют, поэтому нет смысла рассматривать запечатленные (*inscriptive*) характеристики текстов самих по себе. Отсюда вытекает, что этнометодолог, будучи аналитиком, никогда не должен приписывать тексту автономное значение, не должен претендовать на «академически авторитетное» понимание «подлинного» (или «окончательного») значения текста безотносительно к тому, каким образом читатели постигают это значение в реальных, локальных, повседневных обстоятельствах и для собственных практических целей. В конце концов, аналитик — это «всего лишь» еще один читатель и, если он (она) этнометодолог, не может претендовать на привилегированную позицию, позволяющую приписывать «конечный», или «реальный», смысл данному тексту. На эту позицию, однако, претендуют многие другие аналитики текстов, которые, например, стараются объяснить вам, что «на самом деле» означает тот или иной фрагмент Библии, драмы Шекспира, произведения Сэмюэля Беккета и проч., а также то, что все остальные интерпретации полностью ошибочны. Этнометодолог должен всеми возможными способами избегать подобного аналитического абсолютизма и стараться понять, *как* читатели придают тексту именно данный смысл именно в данном случае. Введенное

Ливингстоном понятие пары «текст/чтение» помогает этнометодологу в этом, хотя позже мы выскажем в отношении него некоторые *предостережения*.

Чтение так же часто изображалось в качестве пассивной рецепции читателем простого, односторонне поступающего ему в голову текстуального «послания». На самом деле чтение текста — невероятно сложная смыслополагающая (*sense-making*) активность, основанная на разноплановых, искусно устроенных процедурах придания смысла, предоставляемых окружающей культурой. Как показывает исследование Макхоула [15], мы можем говорить, что читатель(и) реализует «культурно-компетентный ход чтения».

Формулировка Макхоула достаточно удачна, поскольку она позволяет нам для начала отказаться от *когнитивистского* анализа чтения. Многие неэтнометодологические аналитики чтения редуцируют его к простым психологическим понятиям, так что текст описывается в терминах психологической реакции отдельно взятого читателя, то есть получения им послания текста или каких-либо иных сведений. Такая рецептивная модель чтения — это модель приема, обработки, сохранения, извлечения и передачи (текстовой) информации. Этнометодология как социологический подход, напротив, занимает непреклонно антикогнитивистскую позицию и отвергает любую редуцию чтения к индивидуально-психологическим особенностям.

Этнометодология рассматривает деятельность чтения как культурно-опосредованную, социально-организованную и локальную: эта деятельность осуществляется на основе культурного знания, разделяемого членами определенной группы или общества и часто используемого сообща или поочередно людьми, например, создателем(ями) и реципиентом(ами) письма. Возьмем в качестве иллюстрации учеников, обсуждающих математические формулы, написанные учителем на доске. Ученики и учитель совместно «придают текстуальный смысл» этим формулам. Но придание текстуального смысла — социальное предприятие, даже если мы имеем дело с индивидуальным читателем, поскольку единичные читатели все равно используют социально распределенные ресурсы и смыслополагающие практики *in situ*. В этом случае мы, конечно же, относимся к читателям как активным, осведомленным творцам смысла, а не пассивным реципиентам.

Культурно-компетентный ход чтения может также предполагать способность читателей активно пользоваться идентичностями или категориями социального членства (именуемые «категориями членства»), такими, как «девочка-скаут» и «Ангелы ада», а также понимать серийные или последовательные аспекты текста (начало, середину и конец как, например, порядок описания событий и т. п.) и использовать другие культурно-опосредованные смыслополагающие

процедуры, которые он (она) применяет к тексту и которые входят в его (ее) «фоновое знание».

Макхоул [15, ch. 2] составил «стихотворение» из случайно подобранных первых строчек нескольких реальных стихов, а затем записал на пленку попытки читателей придать ему смысл: он полагал, что усилия по пониманию этого «странного» стихотворения эксплицируют техники чтения, которые обычно остаются имплицитными. Он обнаружил, что читатели придавали смысл случайно подобранным строкам как строкам единого, осмысленного стихотворения, исходя из чего они понимали стихотворение, прочитывая его в темпоральной последовательности. Кроме того, читатели рассматривали каждую строку как свидетельство единого складывающегося паттерна смысла, непрерывной ткани, но при этом постоянно были готовы пересмотреть свои интерпретации. В целом, строки казались им согласованными между собой: вторая строка считалась предвосхищаемой первой, и даже если какая-либо последующая строка явно выбивалась из ряда, она часто рассматривалась как «метафорически отсылающая» к предыдущей или к целостному паттерну, о котором свидетельствовала предшествующая строчка. Таким образом, специфический смысл текста — это смысл производимый, и его производство носит эволюционный характер.

Некоторые или все из этих культурных методов компетентного чтения присутствуют в нашем повседневном способе чтения любых документов, например, квитанций, в которых отмечается каждый приобретенный товар или последовательность совершения покупок в магазине. Конечно, определенные тексты, такие, как «Стоянка запрещена», могут предназначаться для «мгновенного» прочтения, поэтому там нет, например, серийно упорядоченной последовательности. Однако знак «Стоянка запрещена», размещенный посреди стены, все же требует активной интерпретации читателями: например, читатели должны установить, что знак не запрещает парковаться посреди стены, а указывает на пространство перед стеной, и попытаться понять, как далеко распространяется это пространство, и т. д.⁵ Данный знак явно предполагает активную интерпретативную или смыслополагающую работу со стороны читателя.

Именно в этом смысле читатель «активирует» текст. Насколько бы деятельным потенциалом ни обладал текст, этот потенциал должен быть активирован посредством чтения. Судя по всему, именно это имеет в виду Ли, когда говорит: «Заголовок должен быть таким, чтобы предоставлять читателям возможность использовать различные методы и техники придания смысла, позволяющие расшифровывать

⁵ Я позаимствовал данную идею и пример из рукописи Уэса Шеррока (Wes Sharrock) «Правила».

заголовки, открывая заложенные в них послания и инструкции» [11, с. 69]. Активное использование читателями методов и техник сборки смысла является, очевидно, ключевым моментом активации свойств текста.

Возможно, один из наиболее показательных примеров активирования текста — «чтение вслух» лекторами своих записей. Ирвинг Гофман [9] подробно описывает разнообразные практики, направленные, как он выражается, на «оживление» текста. Среди прочего к ним относится то, что он называет «вводными текстуальными замечаниями», когда лектор отклоняется от «строгого следования» заготовленному тексту *per se* и делает ремарки, дополнения, оговорки, уточнения, пояснения, поправки и проч. [9, р. 176-177]. Эти «экстра»-комментарии зачастую призваны сообщить устный смысл письменному или печатному тексту, передать его значение, подстроить его именно под данных реципиентов и т. п. На лекции автор текста — это одновременно его распорядитель (*principal*) (то есть его «душеприказчик») и «оживитель» (*animator*) (он представляет и интерпретирует его перед своей аудиторией). «Оживление» текста лекции предполагает придание ему формы «произносимого вслух» в конкретной социальной ситуации или в рамках непосредственного взаимодействия. Хотя Гофман не был этнометодологом, его размышления очень близки некоторым этнометодологическим «находкам», касающимся «оживления» текстов.

Таким образом, чтение текста имеет два аспекта, которые можно разделить лишь аналитически. Решая практическую и ситуативную задачу чтения текста, человек — как бы ни казалось обратное — не осознает данного различия. Первый аспект — способ организации текста, который должен потенциально предрасполагать читателя к выбору определенной системы релевантностей; второй — способ актуализации этих релевантностей в реальных практиках чтения.

Тексты часто создаются таким образом, чтобы соответствовать определенной системе предполагаемых релевантностей читателей — поэтому появляются тексты, адресованные конкретным категориям людей: «Женская собственность», «Только для мужчин», «Новости мотоспорта», «Горец», «Еврейская хроника», «Британский социологический журнал» и т. д. Уклон или форма этих текстов должны соответствовать предполагаемым релеванностям того, кого можно было бы назвать «подразумеваемым (или целевым) читателем». Многие тексты предназначены для читателей, которые принадлежат к группам, характеризующимся специфическим распределением знания: адвокатам, врачам, священникам, инженерам и т. д. Эти группы могут быть названы интерпретативными сообществами, поскольку их члены используют особые (или специализированные) интерпретативные

ресурсы при чтении специфичного для них класса текстов — соответственно, юридических, медицинских, религиозных и инженерных. Обратите внимание: предполагаемые конкретные релевантности могут глоссироваться посредством категоризаций членства — женщины, мужчины, поклонники мотоспорта, евреи, социологи и проч.

Читатели активно интерпретируют тексты, но они не могут интерпретировать их, как им вздумается. Тексты сами содержат «инструкции», настойчиво подталкивающие к предпочтительному способу чтения. Имеет место диалектический, челночный процесс. Текст делает доступными различные интерпретативные схемы, которые читатель активирует в конкретных обстоятельствах, осуществляя свою смыслополагающую работу. Как показано в статье Ли [11], читатели могут использовать подходящие схемы придания смысла с целью идентификации сообщений и инструкций, предоставляемых текстом. Опять-таки, социальные аспекты чтения («подгонка») наблюдаются даже тогда, когда человек читает текст в одиночку. Можно сказать, что акт чтения, оказывая влияние на эту подгонку, устанавливает предполагаемую взаимность перспектив — перспектив, потенцируемых текстом, и перспектив, которые несет с собой читатель. Это не обязательно означает, что читатели всегда соглашаются с прочитанным «сообщением»; это значит лишь то, что они могут, прежде всего, понимать данное сообщение. Согласие, несогласие или безразличие — это следующий, и часто принципиальный, момент акта чтения. Одно можно сказать наверняка: мы не можем сколь-нибудь адекватно осуществлять текстуальный анализ, не рассматривая *и* текстуальную организацию, *и* деятельность чтения как неразрывно связанные друг с другом. Именно помещение в фокус внимания *практик* производства и чтения текстов демонстрирует *праксиологический* характер этнометодологического подхода.

Текстуально опосредованное социальное действие: профессиональное и повседневное

Вернемся к первому абзацу статьи — к списку примеров текстуальных объектов. Большая часть этих примеров взята из ситуаций и обстоятельств повседневной жизни, сцен обыденной деятельности. Однако существует ответвление текстуального анализа, фокусирующееся на общественнонаучных (в особенности, антропологических) практиках. Это направление текстуального анализа занимается вопросами так называемой «высокой культуры» — романами, театральными пьесами, поэзией, религиозными или академическими произведениями и т. д. Текстуальный анализ, как я показал выше, возник в качестве инструмента анализа подобных «высокостатусных» текстуальных артефактов — возможно, с целью осуществления библейской или талмудической экзегезы, литературной критики романов или пьес и т. п. По существу, данное предприятие носило «внутригрупповой»

или элитарный характер: обычно оно осуществлялось в форме критики некоторым сегментом литературной, культурной или академической элиты деятельности другого сегмента в рамках дебатов с ним либо, что даже предпочтительнее, это была дискуссия внутри одного сегмента. Однако наиболее распространенным уровнем социальной практики является уровень повседневной жизни и культурно обусловленных смыслоположений и рассуждений, осуществляемых членами общества. Газетные статьи, записки, дорожные знаки, перечни покупок и т. д. — все это, бесспорно, «повседневные», а не научные или профессиональные тексты. Их обыденный или обиходный статус не означает, что они менее значимы, совсем наоборот — это наиболее типичный уровень «текстуальной работы», производным от которого во многих отношениях является уровень научный/профессиональный, как было показано выше при обсуждении работ Роуза.

Близкий к этнометодологическому анализ того, как автор-социолог комбинирует повседневные и академические ресурсы при производстве профессионального текста, можно найти в исследовании Харви Сакса [20], посвященном работе Вебера «Древний иудаизм». Сакс рассматривает исследование Вебера в качестве особого рода текстуального анализа — анализа текстов библейского Ветхого Завета. Сакс обнаруживает в подходе Вебера то, что я назову *текстуальной трансформацией* — трансформацией библейского текста в социологический, и с этой точки зрения анализирует веберовский текст. В некотором смысле исследование Сакса заключается в текстуальном анализе текстуальных изысканий Вебера, для чего Сакс включает в свое исследование фрагменты из Библии. Он рассматривает работу Вебера в качестве попытки «реконструировать» черты Древнего Израиля путем перевода их библейских описаний на узнаваемый социологический язык. Сакс отмечает, что в целях осуществления такой трансформативной реконструкции Вебер прибегает к тому, что я назову методом «текстуального дознания (interrogation)». При выполнении этой задачи решающее значение имеют ресурсы естественного языка: наш естественный язык, говорит Сакс, «социологически отточен» и полностью приспособлен для решения подобных задач.

«Посредническая» функция текстов может пониматься самыми разными способами, например, антропологический или социологический текст может рассматриваться в качестве посредника между автором (включая определение данным автором обстоятельств своих сообщений, и даже фокусируясь на них) и читателем. Но опосредующий эффект может быть более очевидным, когда мы от профессиональных/академических текстов обращаемся к обыденным, повседневным текстуальным объектам. (Мы также можем обнаружить много интересного, если подвергнем этнометодологическому анализу

обыденные текстуальные ресурсы, используемые при создании профессиональных/академических текстов.)

Рассмотрим некоторые первичные, исходные наблюдения, сделанные Джоном Ли и мной при анализе ряда видеозаписей (и звуковой дорожки к ним), полученных в рамках серии аналитических проектов группой ученых, которые занимаются изучением социальной организации публичного пространства в городской среде. Ли и я собрали и проанализировали (*inter alia*) некоторые данные, касающиеся автобусных остановок и павильонов в одном из предместий Парижа⁶.

Люди скапливались внутри павильона и вокруг него. Это скопление не было организовано наобум, оно, как мы обнаружили, динамически, эволюционно упорядочивалось. Подходил автобус с номером «16» на боку. Спереди тоже находился номер «16» и указывалась станция назначения. Некоторые люди самостоятельно «отбирались» из группы и образовывали очередь, чтобы сесть в автобус. Другие «дисквалифицировались» в отношении данного автобуса, нередко зримо отходя в сторону, чтобы освободить проход тем, кто хочет сесть. *Знак-как-он-читался* номера (и пункта назначения) автобуса «отсеивал» или разделял тех пассажиров, которые хотели сесть в данный автобус, и тех, кто ждал автобуса, идущего в другом направлении. Кроме того, некоторые молодые люди довольно долго «слонялись» вокруг остановки без какого-либо видимого намерения сесть в тот или иной автобус, поэтому можно сказать, что знак на автобусе также способствовал «отсеиванию» ожидающих пассажиров от «непассажиров».

Другими словами, чтение автобусного знака/знаков позволяло тем, кто находился на остановке, активировать множество в высшей степени локальных, партикуляризированных форм действия: самовключение и последующее выстраивание пассажиров в очередь к *этому* автобусу, самоисключение пассажиров, ждущих автобусы, идущие по другим маршрутам, но при этом манифестирующих «ожидание поведение», а также действия никуда не едущих наблюдателей, в том числе исследователей. Это далеко не исчерпывающий список людей, интересы которых связаны с остановкой или павильоном. Указанные

⁶ Остальными участниками исследовательской команды, финансировавшейся в рамках программы французского правительства «Городское планирование», были Кеннет Л. Браун, Изабель Омон, Мишель Жоль и Жорж Нобель. Мы благодарим их за ценный вклад в наш анализ. Выражаем свою признательность также руководителю программы Исааку Жозефу. Отчет исследовательской группы получил заголовок «Comment trouver sa place?» [3], а документ, за который отвечали д-р Ли и я, — «Заключительный отчет: интерактивная организация публичного пространства».

формы действия вели к переконфигурации людей внутри павильона и вокруг него, напоминающей преобразование узора в калейдоскопе — происходила своеобразная смена *гештальта* интеракционной схемы. Данный пример также показывает нам, что «интересы», связанные с конкретным окружением (например, автобусной остановкой), являются, по сути, глоссами текстуры релевантностей, которая может охватывать специфические проекты разных индивидов, сталкивающихся *vis-à-vis* с этим окружением. «Локальная» обстановка включает текстуру релевантностей, посредством которой участники делают ее осмысленной. В подобных текстурах тексты могут занимать центральное или периферийное место, но смысл они приобретают только за счет отсылки (обыденных участников) к этим воспринимаемым (локальным) паттернам: они представляют собой элемент целостной локальной обстановки как «составного объекта».

В данном примере мы можем видеть, что обыденная «текстуальная обработка» знака/знаков представляет собой «двучастное (*duplex*) действие». Первый его «аспект» — мониторинг знака/знаков участниками, второй — инкорпорирование данного знака в «дальнейшие» действия, например, самовключение, самоисключение, встреча определенного человека, выходящего из автобуса номер 16, совет кому-то сесть в «номер 16» и «простое» наблюдение за подобными сценами. Мониторинг знака «номер 16» является неотъемлемой составляющей повседневной деятельности отбора, поэтому два данных «аспекта» можно, в определенном смысле, развести лишь в целях анализа. Однако, разумеется, внимательный наблюдатель сможет отыскать реализацию этого двучастного действия в наиболее чистом виде только в практическом, повседневном мире.

Способ осуществления действия (скажем) входа в автобус «номер 16» является, как говорят многие этнометодологи, *текстуально опосредованным*: именно это придает ему специфически двучастный характер. Данный пример также показывает, что текстуально опосредованное поведение людей на автобусной остановке может пониматься лишь в качестве *совместной* деятельности: самовыбор означает выбор себя по отношению к другим со-присутствующим читателям текста «16», размещенного на автобусе. Текст-как-он-читается оказывает глубокое воздействие на то, как ведут себя люди в конкретном месте и конкретное время. Если приведенный пример кажется тривиальным и слишком банальным, позвольте отметить, что, по нашим наблюдениям, действие самовыбора было далеко не «автоматическим». Номер автобуса или название конечной остановки все еще составляли интерпретативную проблему для ряда пассажиров: «Этот автобус идет туда, куда я хочу попасть?», «Каков *точный* маршрут этого автобуса?» и т. д. То есть текст следовало интерактивно избавить от неоднозначности, задавая вопросы водителю, другим

пассажирам, садящимся в автобус, и пр., либо, например, обратившись к дополнительному тексту, описанию-расписанию (description-cum-timetable) маршрута. Таким образом, инкорпорирование чтения автобусного знака в общий проект действия (например, «поездки в Латинский квартал» в Париже) никогда не было настолько простым, как кажется на первый взгляд.

Действия и взаимодействия производят (более или менее) организованные социальные ситуации, и в данном примере мы имеем не только ряд текстуально опосредованных действий, но и текстуально опосредованную социальную организацию⁷ — локально-укорененную систему действий (одновременно ориентированную на участников ситуации на остановке и управляемую ими), которую мы можем глоссировать как систему сортировки: текстуально опосредованную, самоуправляющуюся (или частично управляемую) систему отбора. Иными словами, подвижная, локальная переконфигурация людей на остановке — например, образование некоторыми из них очереди по прибытии автобуса там, где до этого было «просто» скопление ожидающих, — являлась их совместным текстуально опосредованным достижением. Поэтому мы можем говорить о «текстуально опосредованных социальных действиях и социальных организациях», где последние являются продуктом ситуативной деятельности.

Текстуально опосредованное действие находится в центре внимания исследований, посвященных тому, что — возможно, ошибочно — получило название «взаимодействие человек—компьютер» (ВЧК). Появляющиеся на экране операционные и процессуальные инструкции, получение текстуально оформленных данных, текстуальные возможности CD-ROM и т. д. — все это напрямую соотносится с темой настоящей статьи. Однако следует отметить, что в подобных исследованиях важность текстуального анализа для анализа ВЧК оценивается совершенно по-разному. В некоторых исследованиях ВЧК отображаемые на дисплее тексты рассматриваются в качестве столь же непроблематично «прозрачных», как и в ортодоксальных исследованиях, которые я описывал в начале статьи. Значит, далеко не все виды анализа ВЧК могут считаться «этнометодологическими» по своему характеру.

Должен признаться, я употребляю термин «текстуальное опосредование» с определенной опаской, поскольку его слишком легко проинтерпретировать так, словно текст каким-то образом или в какой-то степени оторван от хода действия, в который он инкорпорирован. Я подозреваю, что более этнометодологический подход мог бы в конечном итоге преодолеть идею «текстуального опосредования», возможно, за счет использования одного из ключевых понятий этнометодологии:

⁷ Спецификацию данного термина см. в: [25].

«рефлексивности». Ниже мы попытаемся аналитически респецифицировать понятие «текстуального опосредования».

Этнометодологическая версия данного понятия состоит в том, что описания или определения являются составными элементами описываемых ими специфических обстоятельств. Описания или определения уточняют эти обстоятельства и уточняются ими: они являются интегральной частью этих обстоятельств и неотделимы от них (см. [7]). Поскольку тексты предоставляют ресурсы описания, данное определение напрямую относится к ним. Однако понятие «текстуально опосредованного» социального действия и организации сыграло важную роль в «возвращении текстов домой» и демонстрации их релевантности для повседневной социальной жизни. Если заимствовать один из витгенштейновских образов, термин «“текстуально опосредованное” социальное действие/организация» послужил и продолжает служить лестницей, позволяющей взобраться на более высокий уровень, достигнув которого мы сможем, хочется надеяться, эту лестницу отбросить. Возможно, текстуальный анализ и есть такого рода лестница.

Один из наиболее выразительных примеров рефлексивного или конститутивного понимания связи текстов с ходом действия — анализ Псатасом [18] «подручных» (occasioned) путевых карт (direction maps). Такие карты рисуются, чтобы помочь другим людям найти в конкретном случае определенное место. Возможно, самым распространенным примером являются карты, нарисованные от руки, но есть и более формальные варианты, такие, как линейные маршрутные карты спортсменов-мотоциклистов и спортсменов, занимающихся ориентированием, либо раскладки скоростей, используемые раллийными пилотами.

Псатас предлагает нам задуматься над тем, сколь удивительна способность людей интерпретировать набор линий на бумаге в качестве относящихся к их общему миру. Он говорит, что подобное прочтение не происходит «автоматически», а методически осуществляется посредством активного ситуативного использования читателями практик придания смысла (хотя, по всей вероятности, они не отдадут себе отчета в том, как они придают текстуальный смысл). Данное осуществление делает путевые карты читабельными/интерпретируемыми для других людей (пользователей) в качестве изображений известного им всем мира — оно объяснимо, читабельно, постижимо описывает мир в виде понятного феномена. Частью этого общего для них известного мира является «как» этого мира, то есть методы культурного рассуждения, используемые при составлении, чтении и применении карты.

Псатас показывает, что путевые карты читаются как в высшей степени практические решения практической проблемы, заключающейся в нахождении нужного пункта назначения. Они содержат ряд

последовательно организованных инструкций, выстроенных по форме: перед, после, возле и т. п. некоторого промежуточного пункта, так что реальное движение по маршруту, изображенному на карте, становится «отыскиванием» ориентиров, указанных на этой карте. Мы все знаем, что улицы «идут» от А к Б, что пункты или места упорядочены (скажем) в форме улиц, перекрестков и проч., что до места назначения можно добраться, если следовать через серию этих пунктов или мест, что некоторые точки могут быть ключевыми, важными вехами пути, и т. д. — подручные карты основываются на этих и многих других видах повседневного культурного знания. Чтение путевой карты, использование ее для нахождения места назначения может требовать «дополнительной» смыслополагающей работы, позволяющей «управиться» с картой — например, выяснения у кого-нибудь *en route*, *действительно* ли это место, обозначенное на карте, установления расстояний и проч. Часто человек, рисуя карту, пытается заранее предусмотреть данную интерпретативную проблему, сопровождая письменные инструкции устными уточнениями. Таким образом, мы снова рассматриваем чтение и письмо/рисование как *действия*. Из анализа Псатаса мы можем видеть, что использование путевой карты в значительной степени является составным элементом актуального проекта нахождения заданного пункта назначения. Это часть описываемого ей проекта. Данный пример прекрасно иллюстрирует рефлексивные свойства хода-действия проекта «нахождение пути» в соответствии со специфической картой.

Карта описывает реализуемый при ее помощи проект действия, актуальное практическое применение карты. Описательные ресурсы карты должны способствовать определению или «актуализации» точек маршрута, которые, по мере их обнаружения, будут придавать, в свою очередь, смысл карте как «описательно адекватной» (по крайней мере, в этом конкретном отношении). Нахождение особенностей, символически обозначенных на карте, придает ей смысл узнаваемой, читабельной и практически полезной для следующей фазы обнаружения заданного пункта назначения.

Таким образом, хотя путевая карта описывает точки маршрута, порядок их обнаружения и проч., смысл карты для ищущего путь специфицируется, уточняется, пересматривается, респецифицируется и т. д. в зависимости от того, как, когда (и если) эти точки находятся. В частности, там, где в карте обнаруживается дескриптивная неоднозначность, нахождение реальной точки способно снять ее. Можно сказать, что карта-как-она-используется демонстрирует свои рефлексивные свойства в том, что она описывает (например, «проявляет» или расставляет) различные точки *en route* к пункту назначения, но, в свою очередь, переописывается (специфицируется, исправляется и т. п.) этими точками по мере их нахождения.

Обращаясь к статье Псатаса, посвященной «подручным картам», к полицейским документам, к данным, касающимся автобусных остановок, к руководству по игре в карты, к письмам и проч., я хотел показать: не может быть общей *априорной* теории того, что такое «в целом» тексты или что такое «в целом» чтение. Природа чтения и текстов и совершаемая ими работа слишком разнообразны, чтобы такая теория оказалась возможной. Более того, тексты и чтение — это неотъемлемо социально-укорененные, локально-релевантные феномены. Конкретные особенности ситуаций бесчисленны, и аналитик не способен их объять или сформулировать, прибегая к стандартным, генерализированным теоретическим схемам или формулам. Напротив, мы должны исследовать, каким образом обычные участники *сами* придают смысл текстам в конкретных обстоятельствах, сами обнаруживают схему или порядок в текстах, которые подходят им для всех практических целей, в конкретном месте и в конкретное время. Это означает, что нужно брать данный текст-как-он-читается и рассматривать, каким образом он укоренен в конкретной ситуации практического действия, частью которой он является, и каким образом сами участники ситуации опознают и используют его.

Возможно, мы говорили о «текстах» и их «чтении» так, словно члены общества неотвратно считают их неразделимыми или, лучше сказать, *релевантно* разделимыми, образующими «пару», проявляющуюся в любых обстоятельствах. Но мы можем легко обнаружить, что данное различие не обязательно релевантно для их локально-практических обстоятельств (включая совпадения их интересов, мотивы «для-того-чтобы», ориентацию на изменяющиеся локальные обстоятельства и проч.). Мы можем, напротив, обнаружить, что разделение текст—чтение считается действительным лишь в отдельных ограниченных обстоятельствах. Ниже мы постараемся респецифицировать в первом приближении разделение текст—чтение, не постулируя его повсеместность для повседневных участников и, тем самым, его включенность во все их практические текстуальные рассуждения. Поэтому нам, видимо, следует позаботиться о том, чтобы аналитически не переоценивать это разделение.

На предыдущих страницах мне, надеюсь, удалось осуществить три маневра (*moves*). Во-первых, сделать зримыми обыденные, само собой разумеющиеся тексты, включенные в повседневную жизнь, и, по крайней мере, проиллюстрировать, как эти тексты встроены в локальные, ситуативные контексты и формы действия. В таком случае аналитик (вслед за неспециалистами) перестает видеть в тексте либо а) прозрачный, непроблематичный проводник в мир объективно существующих объектов, располагающихся по ту сторону текста, либо б) нечто, соприкасающееся с миром объективно существующих объектов, просто «прикрепленное» к ним. Таким образом, исходный

маневр — вывести обыденные тексты из сумрака и пролить на них свет. Учитывая разные уровни очевидности и рутинизации текстов, их «видимый-но-специфически-незамечаемый» характер, это легче сказать, чем сделать, и даже многие этнометодологические и разговорно-аналитические исследования не сумели превратить тексты в полностью эксплицитные темы анализа, а не просто неявные или незамечаемые ресурсы, используемые в качестве основания анализа разговорного взаимодействия или какого-либо иного социально-организованного феномена, например, следования карте с целью нахождения пути к желаемому пункту назначения.

Второй маневр состоял в том, чтобы рассмотреть текст как элемент эволюционного производства — производства, практики которого обладают собственной «естественной историей» и обнаруживают свойства, которые мы могли бы обозначить условным термином (placeholder term) «активные». Эти свойства активно воздействуют на социальные действия и социальные ситуации, которые мы, тем самым, можем, если прибегнуть к еще одному условному термину, назвать «текстуально-опосредованными взаимодействиями / ситуациями». Опять же, хорошей иллюстрацией здесь является рисование и использование подручных карт в процессе осуществления обыденной деятельности нахождения пути. Однако изучение, например, практик применения окказиональных карт может вполне привести нас к преодолению понятия «текстуальное опосредование» и открытию новых возможностей.

Третий маневр связан с проблемой «активации» или «оживления» текста посредством практик чтения в конкретных «локальных» обстоятельствах. Любой «аспект» активируемого текста обычно окзывается «погребенным» под слоем само собой разумеющегося и поэтому должен быть «откопан». Термин «(данный) текст-как-он-читается» был придуман для того, чтобы временно поместить в поле зрения тот или иной аспект текстов, сделать его доступным аналитическому изучению. Одним из наглядных приемов такого действия является введение Ливингстоном термина «пара текст—чтение», который мы эксплицируем и обсудим ниже.

Перечисленные маневры позволяют, на мой взгляд, реально продвинуться вперед по сравнению с остальными аналитическими формулировками, которые, по сути, редуцируют одну половину пары текст—чтение к другой, в то же время незаметно полагаясь на неиспользуемую половину с целью осуществления анализа другой. Уточняющее понятие Ливингстона имеет большое значение, поскольку оно препятствует возможности такой редукции.

Лейтмотивом совершения обозначенных выше маневров является лейтмотив *локальной* организации, лейтмотив ситуативного производства и чтения этих текстов; при этом, например, локализация как

производства, так и чтения может быть диахроничной, то есть это могут быть действия, совершаемые поочередно.

Вопрос в следующем: все ли это маневры, которые можно предпринять? Или, лучше: можем ли мы использовать эти маневры в качестве витгенштейновских лестниц? Каким может быть иной уровень? Для начала было бы неплохо обратить внимание на саму лестницу, и ливингстоновская «пара текст—чтение» — хорошая точка отсчета. Ливингстон обсуждает чтение текста как повседневную деятельность, изменяющуюся или развивающуюся по мере ее осуществления, деятельность, которую можно аналитически понимать как «спаренную». Ливингстон [12, р. 86] метко замечает, что «одна часть пары — которую принято называть “текстом” — представляет собой разъяснение необходимого способа организации обыденных навыков, а другая часть пары — текущую живую работу чтения, выявляющую описание разъяснения чтения (“текста”) в целях организации данной работы. Это и будет называться парой текст—чтение».

Такая аналитическая концепция, несомненно, побуждает нас к аналитическому восприятию чтения данного текста в перспективе его локального разворачивания (то есть *специфического* текстуального воплощения), в процессе которого подобные практики чтения демонстрируют крайне детализированную организацию. «Разъяснимость» (accountability) или «описуемость» текста — то есть специфическое для него слияние дескриптивных ресурсов, инструментов, форматов и проч. — устанавливается путем ситуативного применения этих навыков, навыков, понимаемых не как «частные» психологические способности, а как применение поддерживаемых и подтверждаемых обществом стандартов. В этом смысле идея Ливингстона имеет принципиальное значение, поскольку она резонирует с мыслями Витгенштейна, Уинча, Райла и других по поводу публичной природы якобы частных феноменов. Чтение часто (неправильно) понималось именно как такого рода частный процесс.

Не менее важно, что ливингстоновское понятие «пара текст—чтение» превращает каждый из двух аспектов чтения текста в эксплицитный объект или самостоятельную тему, тему исследования, поскольку ни один аспект пары текст—чтение нельзя оставить без внимания. Понятие Ливингстона также позволяет нам последовательно понимать чтение конкретного текста как феномен живого опыта. Подчеркиваемая Ливингстоном неразрывная связь «текста» и чтения помогает нам избежать часто возникающих споров, которые, в той или иной степени, исходят из концепции *противопоставления* «текста» и чтения.

Тем не менее мне кажется, что введенное Ливингстоном понятие «пара текст/чтение» скрывает в себе некоторые потенциальные опасности, большей частью связанные с использованием слова «пара».

Данный термин может, в определенном отношении, создать не меньше проблем, чем решить. Выше, при обсуждении работы Эдварда Роуза, отмечалось, что социологические описания — это описания на естественном языке, в огромной степени зависящие от обыденного языка. Как показывает Роуз, даже технические переопределения социологами понятий неизбежно обусловлены их обиходным, нетехническим способом употребления. Это, разумеется, относится к текстам на естественном языке в той же мере, что и к устной/звуковой форме. Значит, это относится и к слову «пара».

В повседневном смысле «пара» может пониматься как нечто, состоящее из двух частей, — возможно, связанных, совмещенных, взаимозависимых, но все равно отличимых или отделимых. Когда речь идет об использовании термина «пара текст—чтение», подобное разведение может быть ненамеренным и даже может отрицаться аналитиками в том смысле, что они будут заявлять о намерении рассматривать части как образующие единое, однородное целое. Однако возникает вопрос, «попадает ли в цель» термин «пара», то есть является ли он наиболее эффективным способом описания этого целого? Вполне вероятно, что он не способен на это и что мы могли бы, по крайней мере в порядке эксперимента, поискать возможность передачи феноменального единства в способе постижения текстов самими участниками, способе постижения, который, по крайней мере рутинно, синтезирует текст «и» его чтение.

Можно было бы ввести некоторые условные термины и первичные обозначения, которые бы помогли нам избежать, по крайней мере, некоторых возможных опасностей, связанных с аналитическим использованием понятия «пара». Ливингстон, как всегда, великолепно помогает нам в этом, когда отсылает к проблеме «разъяснимости» — проблеме текста как разъяснения чтения. Один из возможных дальнейших шагов — связать понятие «разъяснимости» с понятием «текста-как-он-читается». В этом смысле мы могли бы рассмотреть текст в терминах локальной схемы релевантностей, посредством которой члены реализуют то, что является для них в данном случае адекватным порядком чтения (ключевой момент здесь, безусловно, — *практическая адекватность*).

Все эти аллюзии, наслаиваясь друг на друга, способны постепенно открыть доступ к феноменальному единству текста-как-он-читается. Говоря о «феноменальном единстве», я имею в виду вновь, что участники сами не различают рутинно (не говоря уже неотвратимо) текст и его чтение — мы понимаем дорожный знак как «говорящий нам» взять левее или что поворота направо нет и т. д. Мы просто видим знак и берем левее. Текст и его чтение одновременны, а не спарены. Это ни в коем случае не означает, что участники *никогда* не

проводят или *не способны* провести разделение текста и чтения; это лишь значит, что они осуществляют его исключительно ситуативным образом — когда возникает проблема множественности прочтений/интерпретаций, когда компетентность оказывается недостаточной, в ситуации затруднения при обучении чтению и т. д. Следовательно, вопрос (или один из вопросов) состоит в том, каким образом этнометодолог может описывать рутинную, само собой разумеющуюся апперцепцию того, что значит данный текст, точнее, того, чем он является, поскольку проблема «значения» встает перед участниками в тех же контекстах, что и проблема интерпретации: при появлении в локальных обстоятельствах конкурирующих версий или определений. Другими словами, текст и его чтение феноменально идентичны.

Условное выражение (возможно, наиболее адекватное) «текст-как-он-читается» или такие словосочетания, как «чтение текста» (*reading in the text*), «читаемый текст» (*text in the reading*) и т. п., могут привести к отказу от идеи обязательной «спаренной» связи «текста» и «чтения» как двух частей пары и рассмотрению их, вместо этого, как смежных и интегральных элементов единой, слитной текстуры, единого ситуационного текста-как-он-читается. Ливингстон, обсуждая не текстуальный пример [13], удачно называет данный феномен «*геиштальт-связностью*» (*gestalt coherence*), а Д. Л. Вайдер [28], заимствуя и адаптируя понятия Арона Гурвича, — «*геиштальт-текстурой*» (*gestalt contexture*). Данные понятия позволяют нам выйти за пределы того, что часто рассматривается в качестве сдвоенного феномена, «текста» и «чтения», и увидеть вместо этого «исключительно» единый (по крайней мере, в этом отношении) феномен.

Такие понятия, как «*геиштальт-связность*», «*геиштальт-текстура*», «*текстура релевантностей*» также позволяют сделать следующий аналитический шаг, возвращающий нас к приведенному выше примеру отпечатанного полицейского документа. Мы могли бы рассмотреть текст-как-он-читается в качестве составной части «более широкой» локальной текстуры, то есть фазы или этапа, насколько бы непродолжительным он ни был, проведения полицейского расследования; установление причастных лиц, официальное сообщение о результатах исследования отпечатков пальцев и т. п. — эти элементы релевантны для разбираемых случаев. В частности, там, где текст-как-он-читается представляет собой ключевое звено более широкой текстуры, мы могли бы обратиться к «*кайме (curtilage)*» текста-как-он-читается». При этом мы можем также сделать шаг к отказу от текстуального анализа *per se* или, по крайней мере, уберечь себя от неправомерного овеществления текстуального анализа как отдельной темы, которую следует присоединить к набору реифицированных тем, в

основном составляющих предмет общепринятой/формально-аналитической социологии, по крайней мере, ее эмпирических разновидностей⁸.

Кроме того, подобный подход к кайме текстов может помочь респецифицировать используемые сегодня в этнометодологии термины, такие, как «текстуально-опосредованные» социальные отношения/социальная организация и проч. Какие ресурсы и идеи способна предоставить аналитическая ментальность этнометодологии в отношении анализа каймы конкретного текста, локального контекста релевантностей, составным элементом которого выступает данный текст, получающий от него смысл? Разумеется, мы должны помнить, что этнометодология не допускает никакого «сквозного» (drive-thru) метода, никакого всепригодного абстрактного/формального метода или ресурса, который может применяться в любом локальном контексте безотносительно к его специфически контингентному характеру и т. п. В этом отношении всегда следует иметь в виду, что аналитическая ментальность этнометодологии предполагает обнаружение порядка в конкретном, а не абстрактном. Она подразумевает выявление отличительно-идентифицирующих производимых феноменальных деталей локальных порядков, а не, например, применение ряда *априорно* введенных аналитиком теоретических терминов вне зависимости от обстановки.

Формально-аналитический и этнометодологический подходы асимметричны и несопоставимы, то есть формально-аналитическое описание социального порядка не является зеркальным отражением этнометодологического описания. Этнометодологическое описание не составляет вторую половину описания порядка, дополняющую формально-аналитическую половину внутри своего рода заполненного пространства (*plenum*), как если бы они были эквивалентными частями. Единственный способ добиться этого — «ослабить» или даже отбросить некоторые или все ключевые особенности этнометодологии, прибегнув в том, что философы называют «небрежной манерой выражаться» и что является, по крайней мере, одним из вариантов «мягкой этнометодологии», как ее окрестил Т. П. Уилсон. Хотя недостатка к обществоведам, лингвистам и специалистам по коммуникации, готовых подписать подобный фаустовский договор, нет, такое начинание обернется в итоге лишь необъятным, беспорядочным нагромождением проблем.

⁸ Однако, учитывая все большее распространение в этнометодологии таких «тем» или «полей», как взаимодействие человек—компьютер, исследования науки, опосредованная компьютером совместная деятельность и т. д., возникает вопрос, не проникли ли некоторые интересы общепринятой социологии в этнометодологию.

Объем настоящей статьи не позволяет привести подробное описание каймы полицейских документов, хотя посвященная этому вопросу статья Э. Дж. Мигана, безусловно, является достаточно исчерпывающей и заслуживает того, чтобы называться своего рода классикой. Миган выявляет, *in situ*, ретроспективные и проспективные ориентации, которые «входят» в производимый документ, как он рутинно читается и используется внутренними и внешними агентами в самых разных социальных контекстах, многие из которых организованы серийно. Подобные ориентации, как правило, временны и открыты, и поэтому (например) заранее специфицировать все способы их актуального применения в каждом конкретном случае нельзя. Деятельность полицейского расследования может рассматриваться — если мне будет позволено свободно обойтись с витгенштейновским понятием — в качестве одной из многочисленных языковых игр, в которые вовлечены тексты; приписывать текстам одну функцию, реализуемую в любых обстоятельствах или комплексах действий, опасно.

Кроме того, работа Мигана указывает путь к еще более локально-чувствительному подходу к (в данной ситуации) полицейскому документу, подходу, состоящему в детальном анализе одного случая. Хотя анализ случая может осуществляться в соответствии с тем, о чем говорится в статье Мигана, *нужно помнить*: в каждом отдельном случае аналитик не должен иметь никаких изначальных допущений. Даже если соображения Мигана применимы, вопрос в том, каково специфическое «сочетание» этих соображений в данном конкретном случае? Этнометодологи отдадут данным, в их локальном воплощении, право определять границы анализа, и этнометодологически понятый текстуальный анализ здесь не исключение. Возможно, в социальных науках только аналитическая ментальность этнометодологии способна в конечном итоге противостоять тому, что Людвиг Витгенштейн (говоря о философии) называл «презрительным отношением к конкретному случаю».

Понимание текста-как-он-читается в качестве неотъемлемой части изменчивой осмысленной «текстуры» (в том числе локального сочетания мотивов, практических целей, специфически доступных ресурсов и персонала и т. д.), или «каймы» основывается на целом семействе понятий, которые мы можем объединить под *рубрикой* сводного термина «рефлексивность», введенного мной выше. Подобная ориентация следует духу этнометодологии, хотя суть данного подхода была сформулирована лучше всего Ирвингом Гофманом, одна цитата из которого мне особенно нравится и, как мне кажется, Витгенштейн и Райл согласились бы с ней: «Полагаю, сегодня в отношении любого социологического понятия, если подходить к нему со всей тщательностью, следует обнаружить то поле, где оно более

всего применимо, проследить, куда оно из этого поля попадает, и постараться отыскать остальные понятия данного семейства» [8, р. xiii-xiv].

Понятие рефлексивности, если применять его к текстам-как-они-читаются, позволяет понимать текст как часть описываемых им обстоятельств и как, в свою очередь, описываемый этими обстоятельствами. Каждая из сторон осмысленно уточняет другую, каждая рефлексивно конституирует другую. Понятия, составляющие семейство и определяющие подобные *геитальт*-текстуры, должны обладать отличительным сходством друг с другом и, что особенно важно, с понятием «рефлексивности», одним из классических понятий этнометодологии, как мы, опять же, отмечали выше.

Теперь мы можем перейти к очень краткому заключению.

Заключительные комментарии

В предложенной работе я попытался указать на ряд взаимосвязанных тем, которые могли бы учитываться в текстуальном анализе. Во-первых, я отметил, что тексты пронизывают нашу повседневную жизнь до такой степени, что они уже не распознаются как тексты. Затем я указал на то, что любые тексты в значительной степени зависят от родовых, обыденных свойств естественного языка, на котором написаны. Этот момент был проиллюстрирован ссылкой на социологические тексты: было показано, что социологический анализ глубоко обусловлен родовыми свойствами обыденного языка, а также особенностями повседневной текстуальной организации культуры.

Затем я обратился к этим свойствам, показав, что тексты активны и практичны, а не бездвижны и инертны, поскольку предрасполагают читателей к определенной интерпретации⁹. Чтение также было рассмотрено как активный, практический процесс придания смысла, а не

⁹ Я использую термин «интерпретативный»/«интерпретационный» с большой осторожностью. Как настаивает Гарфинкель, мы не интерпретируем наш мир, не интерпретируем знаки и не интерпретируем знаковые объекты. В обыденном языке, который, по мнению Роуза, определяет аналитические способы употребления, невзирая на упорное сопротивление некоторых ученых, к термину «интерпретация» прибегают, например, когда практика придания смысла утрачивает рутинность, претерпевает изменения и т. д. Крайний случай — появление разных версий одного и того же положения дел. Так, можно сказать: «Это твоя интерпретация, а не моя!». Как указывалось в предыдущем разделе, чаще всего понимание текста происходит совершенно рутинно, проблематично и без согласований, а его смысл «принимается таким, каким он вычитывается» (*taken as read*). Что касается термина «интерпретация», то в данной работе он используется в качестве условного; его критическое обсуждение и, например, анализ его релятивизирующего статуса будут осуществлены позже на основе конкретных текстуальных примеров.

пассивная рецепция. Роль читателей была понята как «активация» свойств текста. Это привело к идее «текстуально опосредованного» социального действия — социального действия, характер и ход которого предполагает инкорпорирование некоторого текста. Наконец, я попытался обозначить пути выхода за пределы понятий «текстуальное опосредование» действия и «пары текст-с-чтением» путем введения понятий, обладающих отличительным сходством с этнометодологическим понятием «рефлексивность». Данные понятия отсылали к способам функционирования текстов-как-они-читаются в качестве составных элементов окружающих их текстур. Со временем тексты начали становиться центральной темой социологии, а не приниматься по умолчанию в качестве непроблематичных и не заслуживающих внимания в процессе их нерефлексивного применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Atkinson J.M., Drew P.* Order in court: The organisation of verbal interaction in judicial settings. London: Macmillan, 1979.
2. *Atkinson P.* Talk and identity: Some convergences in micro-sociology // Micro-sociological theory: Perspectives on sociological theory. Vol. 2 / Ed. by H.J. Helle, S.N. Eisenstadt. London: Sage Studies in International Sociology. 1982. No. 34 (Proceedings of the International Sociological Association's World Congress of Sociology, Mexico City). P. 117-132.
3. *Brown K., et al.* Comment trouver sa place? Paris: Plan Urbain, 1993.
4. *Carlin A.P.* Auspices of corpus status: Bibliography as a phenomenon of respecification // Orders of ordinary action: Respecting sociological knowledge / Ed. by S. Hester, D.W. Francis. London: Ashgate (forthcoming).
5. *Collins O., Collins J.M.* Interaction and social structure. Paris: Mouton, 1973.
6. *Drew P.* Accusations. *Sociology*. 1978. Vol. 12. No. 1. P. 1-22.
7. *Garfinkel H., Sacks H.* On formal structures of practical actions // Theoretical sociology: Perspectives and developments / Ed. by J. McKinney, E.A. Tiryakian. New York: Appleton-Century-Crofts, 1970. P. 337-366.
8. *Goffman E.* Asylums. New York: Doubleday Anchor, 1961.
9. *Goffman E.* The lecture // Forms of talk. Oxford: Blackwell, 1981. P. 160-196.
10. *Heap J.L.* The boundaries of writing: Paying attention to the local educational order // Local Educational Order / Ed. by S. Hester, D. Francis. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2000. P. 73-90.
11. *Lee J.* Innocent victims and evil-doers // Women's Studies International Forum. 1984. Vol. 7. No. 1. P. 69-73.
12. *Livingston E.* An anthropology of reading. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1995.
13. *Livingston E.* Reading ethnomethodology's program // Research on Language and Social Interaction. 2003. Vol. 36. No. 4. P. 481-488.
14. *Macfarlane A.* The origins of English individualism. Oxford: Blackwell, 1978.
15. *McHoul A.W.* Telling how texts talk. London: Routledge and Kegan Pad, 1982.

16. *Meehan A.J.* Record-keeping practices in the policing of juveniles // *Law in action* / Ed. by M. Travers, J.F. Manzo. Aldershot: Dartmouth-Ashgate, 1997. P. 183-208.
17. *Ornissi D.* Indian voices of the Great War: Soldiers' letters, 1914–1918. London: The Macmillan Press, 1999.
18. *Psathas G.* Organisational features of direction maps // *Everyday language: studies in ethnomethodology* / Ed. by G. Psathas. New York: Irvington (Halsted-Wiley), 1979. P. 203-226.
19. *Rose E.* The English record of a natural sociology // *American Sociological Review*. 1960. Vol. XXV (April). P. 193-208.
20. *Sacks H.* Max Weber's "Ancient Judaism" // *Theory Culture and Society*. 1999. Vol. 16. No. 1.
21. *Sacks H.* On the analysability of stories by children // *Directions in sociolinguistics* / Ed. by J.J. Gumperz, D. Hymes. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972. P. 325-345.
22. *Scarne J.* 100 of Scarne's magic tricks. New York: Cornerstone Library, 1965.
23. *Schegloff E.A.* Reflections on language, development and the interactional character of talk-in-interaction // *Interaction in human development* / Ed. by M. Bornstein, J.S. Bruner. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1989.
24. *Smith D.E.* The active text: An approach to analyzing texts as constituents of social relations. Paper presented at the annual convention of the International Sociological Association, Mexico City, August, 1982. [Forthcoming in a collection edited by D.E. Smith.]
25. *Smith D.E.* Textually mediated social organization // *International Social Sciences Journal*. 1984. Vol. 34. P. 59-75.
26. *Schenkein J.N.* The radio raiders story. *Everyday language: Studies in ethnomethodology* / Ed. by G. Psathas. New York: Irvington Publishers, 1979. P. 187-201.
27. *Watson G.* The social construction of boundaries between social and cultural anthropology in Britain and North America // *Journal of Anthropological Research*. 1984. Vol. 40. No. 3. P. 351-366.
28. *Wieder D.L.* Language and social reality: The case of telling the convict code. The Hague: Mouton, 1974.
29. *Writing culture: The poetics and politics of ethnography* / Ed. by J. Clifford, G.E. Marcus. Berkeley: University of California Press, 1986.